АРХИТЕКТУРА ВЛАСТИ

ГЮРЗА

ИЗЪЯТО



ОЛЖЕС ТАТАРИН

Олжес Татарин

Архитектура власти. Гюрза.

«Автор»
2026

Татарин О.

Архитектура власти. Гюрза. / О. Татарин — «Автор», 2026

Осень 1991 года. Распад СССР. Генрих Зайт, из элитного пансиона, получает письмо, раскрывающее семейную тайну. Мать, умерла, а отец — советский дипломат Юрий — сгинул в архивах. Отправляется в Москву, чтобы найти истину.Расшифровав шахматную партию, выходит на след — теневого триумвирата, управляющего страной. В него входят финансист, идеолог и генерал КГБ. Герой узнает о секретном проекте, где людей программируют — подсознательными метками, вызывающими нужные реакции. Сам Геннадий обладает даром «архитектора»: способен конструировать воспоминания и реальности в сознании. Он собирает вокруг себя союзников. Марина — способная незаметно маркировать чужие мысли. Сан Самыч — умеющий растворяться в социальном фоне.Защищая Марину и их ребенка от системы, Геннадий применяет опасное умение — «живую иллюзию», направляя по ложным следам. Герметичный интеллектуальный триллер о цене воли, о манипуляции и архитектуре власти, где щит — это отсутствие стен, а враг системы — тот, кто есть.

© Татарин О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 01. Предтечи 6
Письмо 6
Исповедь деда 7
Ночь после разговора 9
Москва. Чужое имя 11
Первая ниточка 13
Маргарита и шкатулка 15
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Архитектура власти. Гюрза.

Олжес Татарин

Архитектура власти.
Гюрза.

Глава 01. Предтечи

Письмо

Письмо пришло курьерской службой с пометкой «лично в руки». Генрих вскрыл конверт в машине, пока водитель стоял в пробке на Шлоссаллее. Внутри — лист дорогой бумаги с гербом деда и одной фразой: «Болею. Приезжай. Есть разговор, который не нужно вести по телефону». Ниже — адрес поместья и приписка: «Не бери помощников. Только ты».

Он знал этот тон: дед не просил — он вызывал. И это означало, что речь пойдёт не о здоровье.

Генрих откинулся на сиденье и закрыл глаза. Двадцать восемь лет. За эти годы — десятки открыток от деда, все до единой безупречно вежливые, безликие, с каллиграфическим росчерком внизу. Ни одного личного слова. Он знал этот почерк лучше, чем голос деда. Ни одного приглашения. И вот теперь — вызов.

Водитель обернулся:

— Куда едем, герр Зайт?

— Домой. Соберу вещи. А завтра — в поместье.

Исповедь деда

Поместье деда располагалось в предгорьях Альп, в получасе езды от Мюнхена. Генрих бывал здесь лишь однажды — в детстве, когда дед устроил ему экскурсию по дому, показал портреты предков, провёл по библиотеке и усадил на террасе с лимонадом. Тогда Генриху было семь, и он запомнил только запах старых книг и то, как дед долго молчал, глядя на горы.

Сейчас дом встретил его иначе. Тише. Темнее. Шторы наполовину задёрнуты, камин в гостиной не горел. Слуга провёл Генриха через длинный коридор в кабинет, где за дубовым столом сидел человек, которого он едва узнал.

Дед постарел. Не по годам — по осанке. В прошлом статный, собранный, с подбородком, поднятым чуть выше, чем следовало, — теперь он сидел ссутулившись, и руки его, лежавшие на столе, мелко подрагивали. Не от слабости — от нетерпения. Или от страха.

— Садись, — сказал он, не вставая.

Голос был ровным, но не тот. Он истончился, как старая калька, — и в нём не осталось стали, только бумага.

Генрих сел напротив. Между ними на столе лежала папка — толстая, потёртая, с потемневшими от времени уголками. Рядом — конверт, запечатанный сургучом.

Дед помолчал. Открыл папку. Внутри — документы, фотографии, вырезки из газет. На верхней фотографии — молодая женщина с тёмными вьющимися волосами до плеч, чёрными бровями и карими глазами. Она смеялась, и в её лице было что-то такое, от чего Генрих замер: он увидел в этом лице своё собственное отражение — не точное, но узнаваемое. Линия скул. Разрез глаз. Поднятые уголки губ.

— Это Ирэн, — сказал дед. — Моя дочь. Твоя мать.

Генрих взял фотографию. Долго смотрел на неё, будто пытался услышать тот смех. Дед ждал. Не торопил. Потом, видя, что Генрих не отводит глаз от снимка, продолжил — медленно, словно выговаривал слова впервые в жизни:

— Она была моей единственной дочерью. Когда её мать умерла, Ирэн было четыре. Я растил её один. Дал ей всё, что мог: образование, путешествия, свободу.

Генрих положил фотографию. Посмотрел на деда.

— Но я её не уберёг, — дед опустил взгляд. Голос стал грубее, короче. — Я не научил её видеть людей, которые притворяются близкими. Думал — образование защитит. Деньги защитят. Ошибся.

Он достал из папки вторую фотографию. Молодой мужчина в тёмном костюме, с правильными чертами лица и спокойным, уверенным взглядом. На обороте надпись на русском: «Юрий. Дамаск. 1962».

— Твой отец. Юрий. Советский дипломат. Тридцатилетний помощник консула при консульстве СССР в одной из ближневосточных стран.

Генрих перевернул снимок. Прочитал надпись. Провёл пальцем по чернилам — будто пытался на ощупь определить, с каким нажимом они были написаны. Дед наблюдал за ним, и в этом наблюдении было что-то, чего Генрих раньше не видел: не контроль, а ожидание. Ждал, что внук скажет. Но Генрих молчал.

И дед продолжил. О знакомстве на приёме. О мгновенной влюблённости. О доносе и отзыве Юрия в Москву. Об отчаянии Ирэн.

Генрих встал и подошёл к окну. Тёмные склоны Альп, без единого огня. Он стоял спиной к деду, и в этом было что-то защитное — не от деда, от собственных эмоций. Дед замолчал. Подождал. Потом произнёс имя:

— Рихард фон Штольц. Мой помощник. Молодой, амбициозный. Он давно хотел Ирэн. Не любил — хотел. Брак с ней означал доступ к бизнесу, к активам, к положению. Любовный флирт с советским консулом ставил его планы под угрозу. И он ударил первым.

Генрих повернулся.

— Донос?

— Донос.

— Кому?

— В посольство. В Москву. Куда следует. Он знал каналы. Работал на меня — и знал, куда бить, чтобы было больно всем.

Генрих вернулся к столу. Сел. Не спрашивал больше — ждал.

Ирэн вернулась домой. Но всё уже свершилось. Она была беременна. Тобой.

Чтобы избежать огласки, согласилась на брак с Рихардом.

Беременность протекала тяжело — депрессия, стресс, физическое истощение. Во время родов она умерла, дав тебе жизнь.

— А Рихард? — спросил Генрих.

Дед чуть опустил голову:

— После смерти Ирэн он сломался. Я не мог смотреть на него — и он это знал, – дед нахмурил брови и в его выражении лица проскользнула нотка брезгливости. Глубоко вздохнув, продолжил:

— Пытался вернуть расположение, но грубо: тратил деньги без счёта, устраивал скандалы. Потом алкоголь. Сначала — бокал вечером. Потом — бутылка. Потом — дни, когда он не выходил из комнаты. Результат печален. Пьяный, на мосту над рекой, споткнулся… или сам шагнул — никто не знает. Вытащили мёртвым.

Дед поднял глаза. В них не было сожаления, было сухо.

— И я остался с тем, что не спас никого. Ни Ирэн. Ни даже его, хотя он не заслуживал. И тебя отдалил.

Генрих молчал. В голове складывалась не просто цепочка событий — складывалась карта боли.

— А отец? Он знает обо мне?

— Не знаю. Не пытался связаться. Не мог — железный занавес, политика, риск. Решил, что ты будешь в безопасности здесь, в Германии. Что вырастешь без этой раны. Отправил в пансионат. Содержал. Но не смог… — голос деда дрогнул впервые, — не смог быть рядом. Ты сильно напоминал Ирэн. Думал, деньги заменят присутствие. Ошибался.

Он придвинул к Генриху запечатанный конверт.

— Здесь — всё, что я смог собрать: копии документов, имена, контакты, адрес консульства. Единственное, что знаю наверняка: Юрия после отзыва перевели куда-то в систему министерства. Но ты… ты умнее меня. Ты найдёшь.

Дед впервые посмотрел ему в глаза прямо — без привычной отстранённости, без холодной вежливости. В этом взгляде была просьба.

— Прости меня. За всё. Пусть не сердцем, но хотя бы словом. И — найди его. Если сможешь.

Ночь после разговора

Генрих не спал. Он сидел в гостевой комнате поместья, на краю кровати, не раздеваясь. Перед ним на ночном столике лежал конверт деда — вскрытый, с разложенными документами. Рядом — фотографии: Ирэн, Юрий, и одна, которую дед не комментировал, — снимок с приёма, где они стояли рядом, не касаясь друг друга, но между ними было что-то такое, что объектив поймал, а слова не могли описать.

Генрих смотрел на эти фотографии и чувствовал то, чему его не учили ни в пансионате, ни у частных преподавателей. Злость — не на деда. Точнее — не только на деда. На систему, которая разлучила людей одним росчерком пера. На Рихарда фон Штольца, чьё честолюбие стало спусковым крючком. На себя — за то, что двадцать шесть лет жил, не задавая вопросов.

Потом — навязчивое. Образ матери, которую он никогда не видел, кроме как на снимке, начал всплывать снова и снова. Не лицо — а движение: вот она отворачивается, вот смеётся, вот поднимает руку, будто поправляет волосы. Он не мог это остановить. Каждый раз, когда закрывал глаза, — её смех, беззвучный, застывший в фотоэмульсии. Ему казалось: если он не узнает, как именно она звучал, он не сможет двигаться дальше. Это было нерационально. Он знал это. И не мог остановить.

Он встал, подошёл к окну. За стеклом — тёмные склоны Альп, без единого огня. Тишина, в которой собственные мысли звучали как голос.

— Я не знаю, имеет ли это смысл, — сказал он тихо, обращаясь к темноте. — Но я знаю, что не смогу не попробовать.

Он вернулся к столу. Разложил лист бумаги. Начал писать.

Первым пунктом: язык. Русский он знал — один из шести, освоенных в пансионате. Но знание языка и знание страны — разные вещи.

Вторым: имя. Он записал: «Геннадий Юрьевич Зайт» — отчество по отцу, фамилия, приспособленная к советским документам. Он смотрел на эти строчки и впервые думал об отчестве не как о формальности. Юрьевич. Сын Юрия. Двадцать восемь лет он носил имя Генрих Зайт — и оно ничего не значило. А теперь несколько слогов на русском складывались в то, чего у него никогда не было: принадлежность.

Третьим: легализация. Не туристическая виза, а полноценное гражданство. Осень 1991 года — СССР дышал на ладан, номенклатура лихорадочно прятала активы, и документы продавались тем легче, чем быстрее всё разваливалось. Но продавались не всем — а тем, кто знал, к кому подойти и как предложить.

Четвёртым — поиск отца. Это не было планом в строгом смысле. Скорее — направлением. Контуры задачи, которые проступали, когда он закрывал глаза: где искать, с чего начать, кого опасаться.

Утром он спустился к завтраку. Дед уже сидел за столом — бледный, с тёмными кругами под глазами, но собранный. Генрих положил перед ним лист с четырьмя пунктами. Дед прочитал, ничего не сказал. Только кивнул — один раз, коротко.

Он уже выходил из столовой, когда дед окликнул:

— Геннадий.

Он остановился. Не обернулся.

— Тебе когда-нибудь говорил кто-нибудь, почему я отправил тебя именно в тот пансионат?

— Нет.

— Потому что там учат не только языкам. Там учат видеть. Я выбирал его не случайно. И не только ради безопасности.

Генрих-Геннадий кивнул. Не спрашивал больше. Но отметил: дед сказал «тебе», а не «Генриху». Впервые за двадцать восемь лет — без отчуждения. Как будто лист с четырьмя пунктами что-то выровнял между ними.

Москва. Чужое имя

Первые дни в Москве Геннадий провёл, не предпринимая ничего. Он ходил по улицам, слушал, смотрел, запоминал. Не как турист — как шахматист, который перед партией изучает доску: где стоят фигуры, куда возможны ходы, какие клетки открыты.

Город был серым. Не бедным — именно серым, как будто кто-то выкрутил насыщенность до минимума. Но за этой серостью чувствовался ритм, непохожий ни на один европейский город. Быстрый, напряжённый, с какой-то сдержанной яростью. Люди шли не гуляя — шли куда-то. Не улыбались. Не смотрели по сторонам. И Геннадий отметил: здесь привыкли не смотреть. Это было полезно знать.

Сентябрь 1991-го. Страна трещала по швам, и в этих трещинах всё ещё можно было утонуть — или пролезть. На углу Тверской торговали с ящиков — гуманитарная помощь, сублимированный кофе, на пакетах «Not for sale». В витрине «Елисеевского» за пыльным стеклом лежал один-единственный банан, позеленевший от времени. У постамента на Лубянской площади — пусто: Дзержинского сняли месяц назад, и постамент стоял заколоченный. Полки пустели, очереди росли.

Люди говорили о путче, о ГКЧП, о том, что «всё разваливается», — и в каждом голосе звучало что-то странное: не страх, а усталость.

Как у больных, которые давно перестали верить в выздоровление и ждут, чем кончится.

Легализация прошла без задержек. Чиновник — средних лет, с усталым лицом человека, который давно перестал удивляться — смотрел не в глаза, а в документы. Не хватало одной справки. Геннадий не стал спорить. Положил на стол конверт и назвал сумму — не слишком большую, не слишком маленькую. Ровно ту, которая означает: я понимаю правила.

Через три дня паспорт лежал на том же столе. Тёмно-красный, с гербом СССР на обложке. Имя: Зайт Геннадий Юрьевич. Год рождения: 1963. Место рождения: Москва.

На улице он достал паспорт снова. Открыл. Посмотрел на имя. Генрих Зайт из Мюнхена — исчез. Был Геннадий Юрьевич Зайт, москвич, родившийся в 1963 году в городе, который он впервые увидел три дня назад.

Ему было не страшно. Не грустно. Ему было стыдно.

В пансионате, когда однокурсники хвастались родовыми замками на Рейне, он научился опускать глаза и отвечать: отец — рядовой клерк из торговой миссии, погиб в автокатастрофе. Он сам вырезал Юрия из своей биографии — чтобы новая кожа прилегала к европейскому фасаду без морщин. Кожа прижилась. Шов он перестал замечать.

И теперь, стоя с советским паспортом в руке, он понял: чтобы найти отца, придётся сначала вскрыть этот шов. Раскопать собственную ложь.

И в этом промежутке — между Генрихом и Геннадием — он впервые подумал: а что бы сказал отец, если бы увидел этот паспорт?

Увидел бы своё имя — «Юрьевич» — напечатанное на советской бумаге, и что бы подумал?

Мать опять всплыла. Не образ — запах. Какой-то неуловимый, невозможный, потому что он не знал её запаха. Но ощущался — слабо, на грани галлюцинации. Он остановился на углу, прижал ладонь к лицу — нет, это не память. Это мозг заполняет пустоту. Он знал это. И всё равно не мог прогнать.

Он снял комнату в коммуналке — не потому что не мог позволить себе лучше, а потому что коммуналка была идеальным местом для слушания. Стены тонкие, двери хлопающие, соседи — навсегда недовольные и вечно любопытные. Здесь всё знали о всех. И здесь нельзя было скрыть ничего.

В первый вечер к нему постучала соседка — женщина лет пятидесяти, с лицом, на котором жизнь оставила больше следов, чем ей полагалось по возрасту.

— Вы новенький? — спросила она, заглядывая через плечо в комнату. — Откуда будете?

— Из Москвы, — ответил Геннадий спокойно. — Паспорт московский.

— А говорите как-то… не отсюда.

— Долго жил за границей. Учёба, работа.

Женщина прищурилась, но удовлетворилась. «За границей» звучало достаточно экзотически, чтобы не задавать лишних вопросов, и достаточно опасно, чтобы задавать их, если всё-таки хотелось. Идеальный баланс.

Он жил тихо. Ходил в магазин на углу. Здоровался с соседями. Читал «Правду» — не ради информации, а ради языка: интонаций, оборотов, того, как официальные слова скрывали неофициальные смыслы. Он учился быть советским — не играть, а быть. И постепенно замечал, что Генрих отступает. Не исчезает — отступает. Как тень, которая становится короче, когда солнце поднимается выше.

Однажды, в конце второй недели, он зашёл в справочное бюро на Тверской — проверить адрес Корнеева, имя которого значилось в дедовском конверте. За стеклом сидела женщина средних лет, с короткой стрижкой и очках на цепочке. Она посмотрела в картотеку, покачала головой.

— Корнеев Виктор Павлович? Есть такой. Октябрьская, 12, квартира 7.

Геннадий кивнул, записал. Уже разворачивался, когда женщина бросила вдогонку:

— Странно. Третьего дня тоже спрашивали. Мужчина. Не назвался. Спрашивал не конкретно про Корнеева — про бывших работников консульства. В общем отделе.

Геннадий не изменился в лице. Поблагодарил. Вышел. На улице остановился, сделал вид, что закуривает, огляделся. Ничего. Улица — как улица. Люди — как люди.

Но он отметил. Кто-то уже искал. Не конкретно Корнеева — но следы того же мира. Совпадение? Возможно. Но Геннадий не верил в совпадения. Он верил в закономерности.

Той ночью он лежал без сна и считал. Не дни — лица. Каждый, кто смотрел на него слишком долго. Каждый, кто оборачивался. Женщина у справочного бюро — она смотрела не в картотеку, а на него, когда говорила о незнакомце. Не испуганно. Внимательно. Как будто ждала реакции. Совпадение? Или она кому-то сообщила?

Навязчивое вернулось — но иначе. Теперь не мать. Теперь — ощущение чужого взгляда на затылке. Постоянное, как теплота от лампы. Он понимал, что это может быть паранойя. Новая страна, новая личность, слишком много тайн на одного человека. Но понимание не помогало. Ощущение оставалось, и он не мог его выключить.

Первая ниточка

В конверте деда было одно имя, выделенное карандашом на полях: Виктор Павлович Корнеев, бывший атташе советского консульства в Дамаске, ныне — пенсионер, проживающий в Москве. Дед сопроводил имя скупой пометкой: «Помнил Юрия. Может говорить. Осторожен».

Геннадий искал его неделю. Не потому что Корнеев прятался — потому что Геннадий не торопился. Он сначала проверил: где живёт, с кем общается, какой распорядок дня, какие привычки. Походы в магазин на углу. Выгул собаки — старого сеттера с подбитой лапой. Чтение газеты на скамейке у подъезда — каждый день, с двух до трёх, если позволяла погода.

И ещё кое-что, чего Геннадий не ожидал. Корнеев менял маршрут. Не сильно — на квартал, на другую сторону улицы. Но менял. Бывший атташе, давно на пенсии, — и проверяет, нет ли хвоста. Это говорило о двух вещах: Корнеев чего-то боялся. И Корнеев — профессионал.

В среду, в четверть третьего, Геннадий сел на соседнюю скамейку. У Корнеева на коленях лежала «Правда», поверх очков — солнцезащитные, хотя солнца не было.

— Собака хорошая, — сказал Геннадий, кивнув на сеттера. — Порода?

Корнеев поднял глаза. Оценил. Не одеждой — взглядом. Тем, как сидит, как держит руки, как смотрит. Бывший разведчик — а атташе в консульстве всегда наполовину разведчик — таких вещей не упускал.

— Ирландский сеттер, — ответил Корнеев. — Но уже не тот. Возраст.

— Красивая порода. Благородная.

Пауза. Корнеев сложил газету.

— Вы ко мне? Или просто собаки нравятся?

Геннадий не ответил. Достал из кармана фотографию и положил на газету между ними. Сеттер ткнулся холодным носом ему в запястье — Геннадий не убрал руку.

Корнеев не вздрогнул. Снял солнцезащитные очки. Посмотрел на снимок. Надел очки обратно. Кивнул — коротко, как бьют печатью на документе.

— Говорите здесь. Дома — стены.

Потом снял солнцезащитные очки и посмотрел ещё раз.

— Откуда у вас это?

— Он мой отец.

Тишина. Сеттер ткнулся носом в колено Корнеева, и тот машинально почесал его за ухом.

— Я знал, что когда-нибудь кто-нибудь придёт, — сказал Корнеев тихо. — Не думал, что так скоро. Хотя… сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

Корнеев кивнул. Считал в уме.

— Похоже. Черты есть. Особенно вот здесь, — он указал на линию подбородка. — У Юрия была такая же. Жёсткая. Упрямая.

— Вы помните его?

— Помню. Трудно забыть человека, которого сломала система на моих глазах.

Он помолчал. Потом заговорил — медленно, осторожно подбирая слова.

— Юрий был лучшим в консульстве. Не по бумагам — по людям. Он умел разговаривать так, что ему верили. Иностранцы, местные, свои — все. Это был дар. И это была его проблема. Потому что когда он влюбился… он не смог это скрыть. Не умел. Не хотел. Для дипломата это приговор.

— Что произошло после отзыва?

— Его перевели в министерство. Но не на повышение — в архив. Фактически в ссылку. Архив — это могила для дипломата. Там не карьера, там забвение. Он просидел там… сколько-

то лет. Я потерял его из виду — меня перевели. Но слышал, что он… сломался. Не сразу. Постепенно. Как дом, в котором вынули несущую стену: снаружи ещё стоит, а внутри — пустота.

— Он жив?

— Не знаю. Честно — не знаю. Последнее, что я слышал — лет десять назад — он ещё был в Москве. Или под Москвой. Но есть человек, который может знать.

— Кто?

Корнеев надел очки обратно. Взгляд снова стал непроницаемым.

— Маргарита Сергевна Левина. Работала в архиве министерства. С Юрием — в одном отделе. Кажется, она была единственной, кто к нему по-человечески относился. После того как его списали. Она ушла из министерства. Живёт где-то в Подмосковье.

Пауза. Геннадий ждал — но Корнеев молчал, и в этом молчании читалось что-то большее, чем осторожность.

— И ещё, — сказал наконец Корнеев. Голос стал тише. — Будьте осторожны. Вы — его сын. Для некоторых людей это не просто биография. Это риск. Юрий был не одинок в своей беде, но он был заметнее других. И система не любит тех, кто напоминает ей о её ошибках. Тем более сейчас, когда система разваливается — именно в этот момент она опаснее всего. Загнанный зверь кусает.

Геннадий убрал фотографию. Кивнул. Встал.

— Спасибо.

Корнеев не ответил. Сложил газету, убрал в карман. Сеттер поднялся и ткнулся носом в его ладонь. Корнеев почесал его, надел поводок. Уже уходя, обернулся:

— Я меняю маршруты уже полгода. С тех пор, как один человек задавал вопросы про бывших консульских. Не про меня — про всех. Молодой, вежливый, не представился. Худощавый, в сером пальто. Всегда в сером пальто, запомнилось. Может, проверка. Может — нет. Я не знаю. Но вы тоже будьте внимательны. И вот ещё что — он спрашивал не только про консульских. Он спрашивал про архивных работников министерства. Тоже всех подряд. Как будто по списку.

Геннадий смотрел, как Корнеев уходит — медленно, ровно, не оглядываясь. Бывший разведчик, который боится. И не скрывает этого от того, кому решил довериться.

Справочное бюро. Корнеев. Один и тот же след — кто-то спрашивал про бывших консульских работников и про архивных. Не конкретно про Юрия — но в том же направлении. И «по списку» — это уже не случайность. Это метод. Совпадение становилось закономерностью. Геннадий не один в этой игре. Кто-то ещё расставляет фигуры. Или — ищет фигуры, которые уже расставлены.

Серое пальто. Он запомнил.

Маргарита и шкатулка

Маргариту Сергевну Левину Геннадий искал ещё две недели. Корнеев не дал адреса — не из осторожности, а потому что не знал. Он знал только имя и примерный район: Подмосковье, где-то за МКАД, в районе Звенигорода.

Поиск шёл медленно. Геннадий не обращался в справочные бюро — это значило бы оставить след. Он действовал иначе: нашёл местную библиотеку в Звенигороде, стал заходить туда вечерами, читал, здоровался с библиотекаршей. Через неделю — случайный вопрос: не знает ли она Маргариту Сергевну Левину, которая раньше работала в Москве?

Библиотекарша знала. Маргарита Сергевна жила на окраине Звенигорода, в маленьком деревянном доме с садом. Одна. Без семьи. Бывшая московская интеллигентка, переехавшая «на землю» — как говорили в этих краях.

— Странно, — сказала библиотекарша, убирая книги на полку. — Месяца два назад тоже спрашивали. Не про неё — про архивных работников вообще. Я не задумалась тогда. А сейчас вот — вы. И знаете, что странно? Тот человек тоже сюда ходил. Сидел вот за тем столом, читал. Я его запомнила — худой, в сером пальто. Всё сидел, всё читал, а потом спрашивает: кто из бывших министерских здесь бывает? Я назвала несколько имён. Маргариту Сергевну — тоже назвала.

Геннадий поблагодарил. Вышел. Серое пальто. Снова. Тот же человек — в Москве, в Звенигороде. Систематически, методично. Опрашивает по списку — консульские, архивные, министерские. Кто он? Кого представляет? И — нашёл ли он Маргариту раньше?

Он приехал к Маргарите в субботу. Дом стоял на улице с поэтичным названием Болотная — и впрямь сыро, тихо, кривые заборы и пыльные тополя. Калитка была не заперта. Во дворе — яблони, колодец и старая собака, которая не залаяла, а только посмотрела с укоризненной ленью.

Маргарита Сергевна сидела на крыльце с книгой. Женщина лет шестидесяти, с короткой сединой и лицом, на котором сохранились остатки давней красоты — той, что не от косметики, а от внутреннего света. Она увидела Геннадия, и что-то в её взгляде дрогнуло — не испуг, нет. Узнавание. Как будто она уже видела это лицо.

— Вы — сын Юрия, — сказала она. Не спросила. Сказала.

Геннадий остановился посреди двора. Собака ткнулась ему в ногу.

— Да.

— Я ждала. Не вас конкретно — просто ждала, что кто-нибудь придёт. Потому что Юрия я уже не дождусь.

— Он умер?

Маргарита Сергевна сняла очки, сложила их, убрала в карман фартука.

— Сядьте. Это длинный разговор. И не очень весёлый.

Она рассказала. Медленно, с паузами, иногда закрывая глаза.

Юрий после отзыва попал в архив — мёртвый отдел на втором этаже здания министерства, где дипломатов отправляли доживать. Не увольняли — это означало бы признать ошибку. Оставляли — на бумаге, на зарплате, на том уровне существования, который хуже увольнения, потому что каждый день напоминал: ты больше не нужен.

Маргарита работала там же. Переводчица. Она была единственной, кто разговаривал с Юрием не по-бюрократически. Сначала из жалости. Потом — из уважения. Потом — из чего-то большего, чему она не давала названия, потому что знала: у Юрия в сердце занято место. И оно занято навсегда.

— Он говорил о ней, — сказала Маргарита. — Об Ирэн. Не часто. Но когда говорил — голос менялся. Становился тише. И в нём было что-то такое… как будто он физически ощущал

расстояние между ними. Не километры — годы, стены, занавесы. Он говорил: «Она там, а я здесь, и между нами — всё».

— Он знал, что Ирэн беременна?

— Нет. Ему не сказали. Никто не сказал. Он узнал только… — Маргарита запнулась, — только за год до смерти. Кто-то из старых коллег обмолвился. И Юрий… он изменился. Не сломался — он был уже сломан. Но в нём появилась точка. Цель. Он стал собирать информацию. Тихо, осторожно, через знакомых, через третьих лиц. Искал — вас.

— Он не нашёл.

— Не нашёл. Железный занавес работал в обе стороны. Он знал, что у него есть сын. Не знал, где вы, как вас зовут, как выглядит. Но он знал.

— Когда он умер?

Маргарита открыла глаза. В них было сухо — без слёз, но не без чего-то другого. Какого-то сопротивления. Как будто слова шли не из памяти, а через неё, с трудом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.